

Павел АМНУЭЛЬ

**СЧАСТЛИВОЕ
ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЙ**

(Повторение пройденного)

**Иерусалим
2013**

Павел АМНУЭЛЬ
СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

Редактор О. Бэйс

Серийное оформление Б. Брайнин

Верстка А. Песков

Технический редактор О. Лайн

Корректор Р. Бескина

Издательство «Млечный Путь»,

7/2, Ротшильд, Кфар-Саба,

№. 306278326, 06.08.2007

© «Млечный Путь»

© Павел Амнуэль

Все права защищены

Часть 1

**ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ...**

Какая хорошая память у иных мемуаристов! Читаешь порой и восхищаешься – столько лет прошло, полвека, почти вся жизнь, а вот ведь помнит человек, в каком платье была его кузина, когда они в пятилетнем возрасте полезли на шкаф (шкап – как было тогда прилично писать это слово) и нашли там отцовскую переписку с его любовницей, тщательно спрятанную от бдительного маминого взора. И каждое слово из этой переписки мемуарист помнит тоже, хотя двумя страницами раньше вроде бы сообщил читателю о том, что читать научился лет в шесть с половиной, а точнее – в шесть лет, пять месяцев и восемь дней, и первыми прочитанными словами была надпись на окне аптеки: «Аспирин не завезли»...

Ах, как хорошо иметь настоящую память, с детства приспособленную для грядущего писания мемуаров. Или иметь склонность к дневниковым записям. Действительно, не полагаешься на память – веди дневник и начни в тот день, когда узнаешь, как пишется буква «а». Сначала в строчку «а», потом «п» и, соответственно, «па» и «ап», а через месяц глядишь, появится запись: «Папа дал мне по попе». И лет через пятьдесят, когда возникнет потребность отобразить свое детство в мемуаре, этом мраморе литературных памятников, не возникнет никаких сомнений, и автор напишет: «23 августа 1956 года я вошел в спальню к родителям, когда они занимались любовью, за что меня отгнули и сказали: «Мал еще»...

Я не вел в детстве дневник, да и в последующие годы тоже не испытывал желания вести летопись происходивших со-

бытий. Потому помню я немногое, воспоминания возникают спонтанно, как и у большинства людей.

Полагается начинать мемуар с детских лет? Ну, если полагается...

* * *



1947 год

Папа с мамой поженились довольно поздно — маме было 36, папе 40, причем для обоих это был первый и единственный брак. Мама была ростом выше папы, а он низенький, щуплый. И когда они шли по улице, выглядело это немного комично. Может, поэтому они обычно рядом не ходили — мама чуть впереди, а папа сзади. Отношения у них ровные, папа почти во всем маму слушался, у нее был сильный характер.

У мамы было 11

братьев и сестер. То есть, я знаю, что их было одиннадцать: братьев шестеро, сестер пять. Но видел я только дядю Гришу и тетю Рахиль (еще и дядю Сему, но я был так мал, что ничего не помню). Дядя Гриша прошел всю войну от звонка до звонка, дошел до Берлина, но так и остался рядовым, у него и наград было немного. К нам в Баку он приезжал пару раз и произвел на меня такое впечатление, что, когда мне было лет шесть, я ножницами выстриг у себя клок волос, чтобы прическа (залысины) моя стала, как у дяди. Красивый был муж-

чина, статный, любимец и любитель женщин. К сожалению – и выпивки. На войне привык к ста фронтовым граммам, в результате стал алкоголиком...

Тетя Рахиль (старшая сестра) жила в Баку. Остальных своих дядей (кроме Семы) и тёть я не застал в живых. Одни умерли в детстве, остальные погибли во время войны.

У папы же всего один брат, но зато близнец. Они были ОЧЕНЬ похожи, и люди, мало их знавшие, часто путали. Доходило до курьезов. Директор музея, где работал папа, как-то ехал в служебной машине по городу и увидел дядю Зяму, который куда-то шел. Вернувшись, директор вызвал папу и устроил ему головомойку – почему тот нарушает трудовую дисциплину? Потом, конечно, оба посмеялись. Таких случаев было множество.



1952 год. Жива еще была бабушка (мамина мама). Папа, мама, дядя Зяма, бабушка Фейга, я, Галя (жена дяди Гриши) и дядя Гриша.

Женились братья оба в один год – в 1942. Оба впервые, и оба – на женщинах по имени Аня. Оба умерли в один год – 1979. Оба работали в профессиях, близких к фотографии:

отец оформлял фотодокументы и был заядлым фотолюбителем, а дядя занимался ретушью; сейчас, в век фотошопа, такой профессии уже не существует. Жили в одном городе. По характеру очень похожи. В общем, близнецы.

Жили мы бедно. Отец работал в тогдашнем музее Сталина (потом он стал музеем Ленина), окантовывал в рамки под стекло документы, которые выставлялись в залах. Должность называлась «фотомонтажист», зарплата была еще та – в лучшие годы перед пенсиею 90 рублей в месяц. А мама работала бухгалтером в цехе, где шили одежду по заказам, называлось это «Индпошиводежда» (сокращение понятно?), и получала еще меньше, чем отец, – 60 рублей. Жили мы в центре города, в десяти минутах ходьбы от знаменитого Бакинского Приморского бульвара. Квартира на втором этаже состояла из одной комнаты площадью 9 кв.м., коридорчика и кухоньки, где с трудом можно было повернуться. На этих 9 метрах мы втроем и жили. И еще рыбки в аквариуме. Да, и туалет – в дворе.

За стенкой (между квартирами была заколоченная дверь) в такой же комнате жила с сыном мать-одиночка, женщина тогда молодая, к ней часто приходили ухажеры, которые напивались, а я спал на топчане как раз у двери, и приходилось слышать всякое...

* * *

Первое в жизни воспоминание. Мне было чуть больше года, и мы ехали в гости к дяде Сёме. Мама повезла меня «подкреплять», потому что был я тощий и слабый. В то лето я упился парным молоком, а больше, кажется, никогда его не пробовал. Но деревню под Тулой и дядю Сему я совсем не помню. Только что закончилась война, солдаты возвращались домой с фронта (это я потом понял, а тогда, конечно, ни о чем таком не подозревал). Помню купе поезда (очень отчетливо!), и как я сидел на руках у дяденьки в военной форме (и, конечно, не знаю, был ли он солдатом или офицером).

Водили меня в детский сад Каспийского пароходства – понятия не имею, как попал именно туда (ни мама, ни папа не имели к Каспари никакого отношения), но сам садик помню хорошо. Помню, как в костюме зайца должен был выступать на новогоднем представлении. А запомнил этот эпизод, потому что как раз перед выходом в зал, к елке, мне очень захотелось в туалет. Сдержался, конечно, но запомнил...

Еще очень странное воспоминание, тоже времен детсада. Первый «сексуальный» опыт. На самом-то деле абсолютно ничего сексуального и даже эротического, если судить по воспоминаниям. Была там девочка Клара, и, когда днем наступал тихий час, наши раскладушки стояли рядом, так что легко было дотянуться друг до друга. Дети засыпали, а нам спать не хотелось, мы накрывались одним одеялом и, пока воспитательница тоже отдыхала в соседней комнате, занимались изучением друг друга. Попросту трогали в разных местах. Понятно, больше всего интересовало, чем мальчики и девочки друг от друга отличаются. Чисто познавательный интерес, никаких других мыслей не было. Так что года в четыре я очень хорошо знал, какая разница между мальчиками и девочками.

Поскольку был я ребенком слабым и плохо кормленным (обычной едой было молоко с хлебом, мацони с накрошенным в него зеленым луком и что-то еще в таком же духе), то каждое лето мы снимали комнату на дачах за городом, и мама старалась подкормить меня свежим молоком и фруктами. Денег не было, и мама занимала у подруги, которую звали Дорой, а потом весь год расплачивалась. Откуда были деньги у Доры – не знаю, помню только, что это была статная женщина в шикарном по тем временам пальто с лисьим воротником (интересно, почему мне только это пальто и запомнилось?).

Дачи помню хорошо. Точнее – пляж, песок (на Апшероне потрясающий песок), и как мы там строили из песка домики



На даче в Бузовнах.

день, и вода была очень теплой, как в ванне...

Мы с мамой были на даче все лето, а папа работал и приезжал обычно на выходные, иногда и на неделе вечером, чтобы рано утром уехать в город.

Летом перед школой поехали отдохнуть в станицу Александровскую где-то на Северном Кавказе. Почему именно туда? Спросите что-нибудь полегче... Деревня как деревня, во дворе бегали кура и пороссята. Но чем-то Александровская, видимо, отличалась, потому что, кроме нас, там были и другие отдыхающие. Запомнилась женщина с сыном моего возраста, а может, даже на год моложе. Мальчик лет пяти бегал за мамой и кричал во весь голос: «Пива! Хочу пива!»

Первая моя школа была начальной – там было только четыре класса. Довольно далеко от дома, но рядом с папиной работой – Музеем Сталина. Утром он меня отводил в школу, после уроков я шел к нему, и вечером мы вместе возвращались домой. Музей стоял на высоком месте: море до самого горизонта и прибрежная часть города были как на ладони.

и целые города. Приходили на пляж рано утром, когда еще было немного людей и не жарко. Плескаться у берега в тихом море было огромным удовольствием. В десять становилось жарко, и мы уходили домой, в прохладу – сидели под инжировым деревом в саду или в маленькой комнате, которая и называлась «дачей». Часов в пять вечера опять отправлялись на пляж – наступала вечерняя прохлада, а море, наоборот, прогревалось за

Там я видел полное затмение солнца. Было это 30 июня 1954 года (дату я, конечно, не запомнил тогда, много позже посмотрел в Астрономическом календаре).

Было часа три дня. Постепенно начало темнеть, солнце вроде и светило, но как-то тускло, хотя облаков не было. Папа закоптил несколько фотографических пластинок, через них мы и смотрели. Начали выть собаки, к ним присоединились со своим мяном кошки, и солнце исчезло, остался черный круг, окруженный короной. Такое ощущение, будто мир выключился, и ты находишься в пространстве, которого вообще-то и не существует. Очень темное фиолетовое небо, высоко над морем черный круг солнца, а вокруг яркая корона. И воют собаки, кошки, петухи орут, люди тоже перекрикиваются... Нет чтобы в тишине любоваться! Так продолжалось минуты две, а потом сразу стало светло, как только появился первый луч...

Еще помню смерть Сталина. Нас собирали в коридоре школы, и помню, как дико зарыдал вдруг мальчик из нашего класса. Звали его Толик, и был он немного ущербный, глаза навыкате, и левая рука странно сгибалась в локте. Я на него смотрел удивленно, думал: ну и чего? Умер и умер... Папа у меня был истовым коммунистом, а мама принципиально беспартийной. В тридцать седьмом посадили мужа ее старшей сестры Рахили, и мама рассказывала, что о нем долго ничего невозможно было узнать, а однажды прислали его вещи с сообщением, что он умер. Тетя Рахиль стала вещи тщательно перебирать, потому что была почему-то уверена, что там должно быть письмо. Ничего не нашла, и, уже почти изверившись, вытащила из трусов резинку и обнаружила намотанный на нее клочок папиросной бумаги, на котором были написаны два слова на идише: «Не виновен». Сколько я себя помню, мама всегда называла Сталина сволочью, а папа на нее кричал, что она ничего не понимает...

Маме приходилось и лицемерить – как многим в те времена. Как-то она взяла меня с собой на собрание (профсоюз-

ное?), где ей нужно было выступить с речью от своего цеха. Содержание речи я, конечно, не помню. Было это уже после смерти Сталина, но у власти в Азербайджане все еще находился такой же ирод местного разлива: Багиров. Как сейчас помню: в конце выступления мама воскликнула: «Да здравствует верный продолжатель дела Ленина-Сталина Мир Джаджар Багиров! Ура!» И все закричали «Ура!» Я потом спросил ее, зачем она это кричала, если Сталин и Багиров – сволочи. Наверно, мама что-то ответила, но ответа не помню.

Книг у нас в то время было немного. Отчетливо помню тонкую, в оранжевой обложке, «Повесть о корейском мальчике» – эту книжку мама читала вслух, когда пытаясь заставить меня хоть что-нибудь поесть. А еще была десятитомная «Малая Советская Энциклопедия», издание конца двадцатых годов. Я ее внимательно рассматривал, еще не умея читать, привлекали фотографии, карты, рисунки. Много было заклеенных мест. Крепко заклеенных – синяя плотная бумага на столярном клее. Заклеенных так, что отодрать можно было только вместе с книжным листом. Долгое время я не знал, что это означало, отец на мои вопросы не отвечал, и только после ХХ съезда я понял, что на заклеенных местах находились статьи о «врагах народа», репрессированных уже после выхода в свет Энциклопедии.

* * *

В день похорон Сталина занятий в школе не было, и я стоял в почетном карауле в вестибюле музея. Венков принесли столько, что все было ими завалено, а стены увешаны венками до самого потолка. В час дня завыли трубы всех заводов на разные голоса, и все кругом замерло. Это в Москве начались похороны.

Музей Сталина, где работал отец, был огромен. Перед входом возвышалась статуя вождя. А в вестибюле стоял черный мраморный монумент – Сталин и Ленин в Горках. Три этажа

экспозиции – картины, документы, фотографии, макеты, предметы быта. Было на что смотреть. Проводя каждый день в музее, экспозицию я знал, конечно, наизусть. Отец занимался оформлением документов и фотографий – делал паспорту, рамки и так далее. Отлично помню запах столярного клея, плитки этого клея, которые отец варил в специальной печке...

Помню буфет музея, где мы покупали на обед бутерброды и кефир (точнее, грузинское мацони, похоже на кефир, но вкуснее).

Каждый день в музей приносили или присыпали подарки, предназначенные Вождю: большие, ручной работы, ковры с изображением Сталина, хрустальные вазы, различные самоделки. В Москву это добро, конечно, не отправляли. Все подарки хранили в специальном помещении в подвале, и экспозиция этого «музея», куда никого не допускали, постоянно пополнялась.

До XX съезда в музее все оставалось по-прежнему. Только подарки Сталину перестали приносить. После XX съезда музей начали срочно менять. Первым делом сбросили монумент Сталину перед музеем – высотой он был с четырехэтажный дом, камень ломали несколько дней, а пустой постамент стоит до сих пор. Потом дошла очередь до экспозиции, и у отца появилась масса работы – надо было все документы менять, убирать документы с именем Сталина и выставлять все, что касалось Ленина. Но это еще ладно, документов в запасниках было достаточно. А что делать с картинами и скульптурами, которых было много в каждом зале?



Это были, в основном, огромные полотна: средний размер метра три на четыре. «Сталин на заводе Коммунаров», «Сталин в колхозе», «Сталин в Кремле» и Сталин где угодно. Сотни картин! Бакинские художники прекрасно на этом зарабатывали. И тогда их опять призывали. К тому же, там были картины не только со Сталиным, но с Берия, Кагановичем, Маленковым, Молотовым... А они уже успели стать врагами народа... Все картины переписали. Не целиком, конечно – только лица. Вместо Сталина появлялся Ленин – «Ленин на заводе Коммунаров» и так далее. Вместо толстого Маленкова рисовали толстого Хрущева, из Кагановича делали Булганина и так далее. А потом расстреляли Багирова, местного Сталина, его изображения тоже переделывали. Художники обогатились по второму разу, причем очень быстро – ведь все делали в спешке после съезда, месяца за три всю экспозицию поменяли!

А что делать с подарками? Хранить это добро уже не нужно было, и ковры с хрустальными вазами стали дарить работникам музея на дни рождения, к выходу на пенсию, к праздникам... Так у нас дома появились несколько хрустальных ваз – пару мама тут же выбросила, потому что на хрустали были портреты вождя. Но штуки три еще долго стояли, пока не побились. С коврами было хуже – почти все они были огромными, и почти на всех были портреты вождя. Кто повесил бы такой ковер у себя дома при всей любви бакинцев к коврам на полу и стенах? Два хороших небольших ковра подарили и отцу. Долго они висели у нас на стене в большой комнате, но со временем выцвели, работа оказалась не такой уж качественной. К восьмидесятым годам мама их выбросила, вида у них уже не было, да и выбивать из ковров пыль никто не хотел...

В конце шестидесятых для музея Ленина построили новое здание около Приморского бульвара, там всю экспозицию сформировали заново, опять кого-то в кого-то перерисовы-

вали, а в бывшем музее Сталина-Ленина устроили Дворец пионеров.

А я после четвертого класса перешел в другую школу – уже близко к дому, туда я уже сам ходил. Это была одна из лучших школ в городе, и номер у нее был соответствующий: школа № 1. Тогда у меня появился друг – лучший и надолго, Саша Михайлов. В седьмом классе к нему прилепилась кличка Тромбон, с ней он и живет до сих пор. У меня была кличка Пибл, а Арифа Джрафова, третьего в нашей компании, называли Жирафом. И не спрашивайте, почему прозвища были такими. Саша ничем не напоминал тромбон, да и не играл никогда на этом инструменте, Ариф совсем не был похож на длинношеее, а что означает Пибл, я не имею ни малейшего представления. Может, забыл, а может, и тогда не знал.

Тромбон жил в квартале от нашего дома, и квартира у Михайловых была совсем другая: две большие комнаты, потолки под четыре метра высотой, мебельные гарнитуры, даже телевизор был с маленьким экраном. Отец Тромбона был полковником, служил в Германии, после войны оставался комендантом небольшого городка, а демобилизовавшись, переехал с семьей в Баку и устроился заведующим военной кафедрой в Институт физкультуры. С Тромбоном мы подружились. Он после школы ходил в Окружной Дом офицеров учиться играть на кнопочном аккордеоне. Тромбон много репетировал, а я слушал. Он разрабатывал пальцы на скорость, по сто раз играл Чардаш Монти, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, увертюру к «Руслану и Людмиле» Глинки... Как-то он решил побить рекорд. Обычно увертюра к «Руслану» звучит минут пять, а он задался целью сыграть без ошибок за четыре. А «Полет шмеля» – за пятьдесят се-кунд вместо пятидесяти шести. И сыграл, в конце концов. Спорт, а не музыка, в общем...

Когда они жили в Германии, Тромбон с местными мальчишками соревновался: кто больше выдержит, глядя, не



С Тромбоном на Приморском бульваре.

еще, на фиг, опера? Скукота. Но он меня уговорил и потащил на «Травиату». В тот день пели гастролеры: румын Николае Херля пел Жермона, а американка Роберта Питерс – Виолетту. И молодой бакинский тенор Ибрагим Джрафаров – Альфред. Голоса замечательные, сейчас у меня есть много записей опер и с Херлей, и с Питерс, так что могу уже точно судить. А тогда впечатление было шоковое, будто в новый мир попал. С того вечера мы стали ходить в оперу почти на каждый спектакль. Дважды в неделю точно. Иногда чаще. На гастроли – всегда. И на премьеры, естественно. Но об опере – отдельный разговор.

* * *

Завучем у нас был Мартын Ервандович Дадаян, замечательный человек (а были ли у нас в школе не замечательные учителя?). На фронте он лишился обеих ног. После войны прошло тогда всего 15 лет, и он был еще молодым, когда мы у него учились – лет сорок с небольшим, – но мне казался старым и солидным. Ходил он на протезах, с палкой. Костылей не признавал. Советские протезы тех еще лет – представляю, какое было мучение на них ходить, переставляя «ноги», как на ходулях. А он ведь взбирался на второй и третий этаж

несколько раз в день, и этажи в школе, здании старой постройки, были высокими...

Преподавал Мартын Ервандович историю и очень интересно рассказывал. Мы с Тромбоном любили после уроков иногда заходить к нему в кабинет и поговорить «за жизнь». Он нам рассказывал о войне, но никогда не говорил, как случилось, что пришлось ампутировать ноги. А мы не спрашивали. Впрочем, все и так знали, конечно – рассказали другие учителя. Снаряд рядом разорвался, было это в 1943 под Курском.

Мы с Тромбоном и после окончания школы довольно часто захаживали к Мартыну Ервандовичу поговорить. Мы учились в университете, и он разговаривал с нами иначе, как с равными, жаловался на власти, на бюрократию, на РОНО, которое не дает дыхнуть. Даже о женщинах говорили, чего в наши школьные годы он, конечно, себе не позволял. Помню, меня поразило его замечание. Говорили о том, какие красивые девушки в Баку (это так!), и он сказал: «Ну, ведь ты, когда на девушку смотришь, ты ее взглядом раздеваешь»... Я-то думал, что я один такой и страшно этого стеснялся, думал, что это какое-то извращение. А оказывается, нормальная мужская реакция...

У него была машина – «москвич» с ручным управлением. Однажды он рассказал, как ехал за городом по Апшеронскому шоссе, впереди был пост ГАИ, и вдруг мимо на огромной скорости промчалась «волга» – не правительенная, обычная. «Я, – рассказывал Мартын Ервандович, – напрягся, думаю, сейчас его остановят. И действительно, вышел на дорогу гаишник с жезлом, махнул. А тот едет, не снижая скорости. Когда «волга» проезжала мимо гаишника, вижу: белый комок вылетел из правого открытого окна машины и упал на



М.Е. Дадаян

дорогу. Гаишник спокойно подошел, поднял, развернул, положил в карман и пошел себе на место. Я как раз мимо проезжал. Не знаю, сколько тот гаишнику кинул. Сотню?»

В общем, ГАИ как брало, так и сейчас берет.

Физкультуру вел Анатолий Александрович Чумаков. Здоровый мужик, под два метра. Похож был на майора Пронина, каким его изображали в шпионских романах. К каждому ученику у него был свой подход, и каждому он давал упражнения по силам – мне, в частности. У меня был порок сердца, мне вообще запретили физкультурой заниматься, но он все-таки заставлял меня что-то делать.

Как-то из зала украли несколько мячей, и после этого Чумаков стал, запирая зал, с внутренней стороны подставлять под дверь металлическую трибуну, такую, на которой сидит судья во время волейбольного матча. А сверху еще ставил металлическую стремянку. Если бы кто-то, не знавший об этой конструкции, открыл снаружи дверь и попытался войти, стремянка упала бы ему на голову с понятными последствиями.



А.А. Чумаков

Однажды Чумаков выпил (бывало это с ним) и пришел в школу вечером что-то в зале забрать. И поскольку был выпивши, забыл, что за дверью его ждет стремянка. Открыл и получил по голове. Поднял стремянку, посмотрел вверх, прошел что-то сквозь зубы и водрузил на место. При этом присутствовал сторож, который и рассказал об этом случае. Умер Чумаков через несколько лет после того, как я окончил школу. Ездил с учениками в бассейн общества «Динамо» и плавал с учениками вместе. И так получилось, что его ударило под водой током. Понятия не имею, что там было. Оголенный провод? Каким образом? В общем, умер он на месте... Странно играет судьба с людьми.

После восьмого класса отправили нас в совхоз, в село Ивановку, на прополку виноградников. Практика такая – научиться тяпкой махать. С нами поехали классные руководители, а у нас, в восьмом (потом девятом) «б» классным руководителем был учитель биологии Михаил Моисеевич Гуревич. Обаятельный человек. Кабинет биологии располагался на третьем этаже, в закутке, к которому вела очень узкая, чуть ли не винтовая, лестница, там вдвоем было трудно разойтись. Кабинет же был огромный, там стояли десятки заспиртованных (или в формалине?) органов разных животных, множество чучел. Больших – тигров, скажем, – не было, но всякой мелкой живности огромное количество. И десяток клеток с попугайчиками, черепахами, белками. Всем этим хозяйством Михмос (так мы его называли) управлялся с нашей же, понятно, помощью. Ходить ему было трудно из-за хромоты, причину которой я или уже не помню, или вообще никогда не знал. Хромал он не так уж сильно, но тащить тяжесть ему было трудно, а портфель у него был огромный и тяжелый, и носил его Михмос в школу каждый день. Точнее, не сам носил, а кто-нибудь из учеников. Проблем у него не было – выходил утром на улицу с портфелем, и непременно попадался кто-то, кто тоже шел в школу. Он портфель и носил до школы. После уроков все повторялось, только на этот раз портфель нес ученик из класса, у которого биология была последним уроком. С портфелем была связана тайна, которую мы хотели раскрыть: ЧТО в портфеле находилось? Почему он был таким тяжелым? Никто никогда не видел внутренностей портфеля. Возможно, Михмос его и открывал, но никто из класса этого ни разу не видел. Никогда ничего при нас он не доставал и не клал внутрь. Так ЧТО же там было?



М.М. Гуревич

Тайна все-таки разъяснилась, да никакой тайны на самом деле не было. Однажды Михмос забыл запереть портфель на ключик, как он обычно делал, и, когда он вышел из кабинета, кто-то набрался смелости и открыл портфель. Ничего не-обычного: книги, учебники, тетради... И тут кому-то пришла в голову «блестящая» идея: если Михмос портфель не открывает, давайте вытащим оттуда книги и положим кирпич. Увидит он? А вдруг нет, и будет ходить с кирпичом в портфеле?

Так и сделали, не подумав, что оказываем медвежью услугу не Михмосу, а себе же. Забыли, что тащить портфель все равно придется кому-то из нас. И таскали, проклиная идею эксперимента. Но главное – мы так и не узнали, увидел Михмос кирпич в портфеле или не увидел! Недели через две опять подкараулили, когда Михмос вышел из класса, заглянули в портфель – кирпич был на месте. Сам Михмос и виду не показал, что ему что-то известно. Эксперимент прошел безрезультатно. Кирпич вытащили.

В восьмом классе по биологии мы проходили анатомию человека. Все было нормально – изучили кровеносную систему, мышцы, внутренние органы... К концу учебного года осталась последняя глава: детородные органы. С каким нетерпением мы ждали момента, когда дойдет дело до этой главы! Как Михмос станет при девочках объяснять устройство детородных органов мальчиков – и наоборот. Тромбон заранее подготовил десятка два вопросов. Девочки делали вид, что их это не интересует. Наконец, на очередном уроке, по идее, мы должны были перейти к последней главе.

Но Михмос вывернулся! Был уже май, он оглядел нас суровым взглядом и сказал, что программа была насыщенная, а скоро конец учебного года, и мы должны успеть все повторить, иначе позабудем пройденное. И вместо последней главы мы стали пройденное повторять. Можете представить наше разочарование! Девочки хихикали, а Тромбон не удер-

жался и все-таки вылез с вопросом: «Почему последнюю главу не проходим?» Михмос смерил его мрачным взглядом и спросил: «А разве там есть еще глава?»

Так мы и остались в неведении относительно устройства детородных органов. На самом-то деле все, понятно, прочитали первым делом именно эту главу, когда получили новые учебники, перейдя в восьмой класс.

У нас были замечательные преподаватели физики и математики: физику вел Бабкен Егишевич Арустамов, а математику – Эсфирь Израилевна Мантель. Она меня все время подбивала поучаствовать в какой-нибудь математической олимпиаде, а я отказывался. Не был в себе уверен, несмотря на «отлично» по алгебре и геометрии. Один-единственный раз я поддался на уговоры и в десятом классе (а учились мы тогда 11 лет) попал на городскую математическую олимпиаду. Закончилось это конфузом.

Задач было три, и времени на решение – три часа. В классе, где мы сидели, часов не было, так что время я проводил по своим наручным часам – тем, что купил год назад на свой первый гонорар. Задачи не показались мне особенно трудными, я сидел, размышлял, как лучше написать. Посмотрел на часы и ахнул: оказывается, прошло уже два с половиной часа, а я и не заметил! Надо спешить! Огляделся – все сидят, спокойно пишут. Пришлось быстро-быстро записать все решения, и, когда на моих часах оставалась минута до окончания, я встал и пошел сдавать листки. На меня удивленно посмотрели, и председатель комиссии спросил: «Уже? Так быстро?» Я не понял: где ж быстро, уже время! Отдал листки и вышел. Коридор был пустой, и я удивился: почему никто не торопится? Посмотрел на большие часы, висевшие



Э.И. Мантель

на стене, и только тогда понял: оказывается, прошел всего час! Секундная стрелка на моих часах вращалась, как ошпаренная. Не знаю почему, не знаю, какая биофизика сыграла роль, но мои часы, в которых я был уверен больше, чем в себе самом, начали в тот день (именно во время конкурса!) идти втройе быстрее! Через пару часов после этого они опять пошли нормально – чуть ли не секунда в секунду. Как объяснить этот феномен – не знаю. Может, на часы подействовало мое нервозное состояние? Не хочу гадать.

Вернулся я домой, уверенный в том, что написал фигню, и, конечно, призового места не зайду.

Результат стал известен через неделю. Занял я третье место. Но! Две задачи я решил правильно, как в учебнике. А третью, которую решал второпях, за минуту до «конца» срока, я решил тоже правильно – в том смысле, что получил правильный ответ. Но никто не мог понять, КАК я его получил. Там была какая-то числовая последовательность, и нужно было найти ее сумму. Существовала формула, которую надо было использовать. А у меня написано было всего три строчки текста без единой формулы. Что-то вроде «поскольку первый член равен тому-то, а коэффициент... то...» и дальше сугубо логически был выведен ответ. Правильный. Случайно написать это число было невозможно. Меня потом позвал председатель комиссии, и они с Мантель пытали меня, чтобы я объяснил, что я имел в виду, как пришла мне в голову идея логического решения. Я не смог, за что мне и снизили балл...

После этого стресса я больше на олимпиады не ходил.

В школе у нас был военрук, хороший дядя, но не очень умный. Ребята любили над ним подшучивать. Шуток он не понимал, и ко всему относился серьезно. Скажем, занятие: ориентирование на местности. Как определять страны света по мху на дереве, по солнцу...

Вызывает он кого-то из класса и просит рассказать, а тот вместо ответа спрашивает:

– А что делать, если солнца нет?
– Тогда по звездам.
– А если нет звезд?
– Тогда по мху.
– А если пустыня, деревьев нет?
– Тогда по камням.
– А если и их нет? И вообще ничего нет? Ни солнца, ни мха, ничего! Пусто!

Немая сцена. Об этом, похоже, он не думал. О таком случаете в учебнике не сказано.

– Так, – говорит, – не бывает, чтобы вообще ничего не было.

– А если...

– Садись, двойка!

– За что??

* * *

Тромбон учил меня, как общаться с девушками. Ничему не научил, да и можно ли этому научить? Характер надо было менять, а не методам учиться. А характер у меня стал меняться разве что годам к двадцати пяти, да и то медленно. Во всяком случае, девушке, которую любил в школе, я сумел признаться в любви только на пятом курсе, когда поздно было – она не то чтобы была влюблена в другого, но в голове у нее уже сложился образ будущего мужа, явно не похожий на меня.

Поскольку на практике с девушками долго ничего не получалось, то много душевных сил уходило на самокопание и попытки не думать о девушках, поскольку «первым делом самолеты». Занимался самовоспитанием и сам себя учил тому, что надо делать в жизни. Прежде всего – самодисциплине. Классе в седьмом завел тетрадку, и если девочки в этом возрасте вели дневник, то я записывал приказы самому себе: сделять то-то и то-то к такому-то числу или дню недели.

Приходил назначенный день, я открывал тетрадку и смотрел – сделал или нет. Если нет – записывал самому себе в тетрадку выговор. Обычный или с предупреждением. Если приказ был выполнен, то записывал себе благодарность от себя. Слава богу, благодарностей было больше, чем выговоров. Если бы получилось иначе, то интересно, что бы я сделал, записав себе выговор с последним предупреждением? Сейчас об этом вспоминать смешно, но тогда я ко всему относился очень серьезно. Раз приказал – надо сделать, хоть тресни. Возможно, это не так, но мне кажется, что именно той детской игре я обязан тем, что потом и сейчас старался и стараюсь не давать обещаний, которые не могу выполнить.

Один из приказов был: написать фантастический рассказ. О космосе, конечно. Я уже посещал астрономический кругок и потому писать мог только о звездах и космосе. Тогда в газетах печатали данные о том, когда над каким городом будет пролетать спутник, чтобы в назначенное время каждый мог посмотреть в указанном направлении и увидеть пересекавшую небо не очень яркую звездочку. Я тоже, естественно, выходил и смотрел. И однажды увидел. Правда, не в то время, что было указано в газете. В газетах был адрес, куда надо было писать и указывать точное время наблюдения. Это как бы помогало уточнять орбиту. Увидев звездочку, я засек время и написал письмо по указанному в газете адресу. К своему удивлению через месяц получил из центра управления полетами письмо на официальном бланке, где была благодарность за наблюдение и добавка: «Вы наблюдали ракету-носитель». Мне просто повезло – ведь время пролета ракеты-носителя (а она тоже вышла на орбиту вместе со спутником, но двигалась отдельно) в газетах не указывалось.

Итак, дав себе приказ сочинить фантастический рассказ, я написал в школьной тетрадке, как на некую планету прилетел земной звездолет, космонавты вышли, обнаружили тоннель, полезли туда, вышли в какую-то комнату... Они должны были

там что-то обнаружить, но что? Моя фантазия иссякла, и рассказ остался незаконченным. В назначенный срок я записал в тетрадь выговор, поскольку приказ выполнен не был.

Перечитав свой первый опус, я понял, как мне показалось, почему получилась мута. «Потому, – решил я, – что я пытался придумать что-то свое, а для начала этого делать не надо, надо руку набить. Надо научиться хотя бы предложения складно составлять, а не воображать себя Ефремовым или Беляевым». И потому следующий опус оказался мозаикой из того, что знал. Нужна была идея для рассказа. А я читал тогда всю фантастику, какую печатали в журналах «Техника – молодежи» и «Знание – сила». В «Знании – сила» мне очень понравился рассказ Георгия Гуревича «Инфра Дракона». О том, как наши космонавты обнаружили неподалеку от Солнечной системы невидимую звезду, настолько холодную, что светила она только в инфракрасном диапазоне. Такие наполовину звезды, наполовину планеты сейчас действительно обнаружили и довольно много, правда, не в окрестностях Солнечной системы, а гораздо дальше. Называют их суперюпитерами. Но это сейчас, а в 1958 году идея суперхолодной звезды была фантастикой. Этую идею я и присвоил, но сделал наоборот: в моем рассказе не наши космонавты летели к инфракрасной звезде, а разумные обитатели инфры посещали Солнечную систему. Прилетели, попытались связаться, не получилось, и улетели. Рассказ назывался «Икария Альфа».

Сюжет вполне примитивный. Главный герой был по нынешним понятиям анекдотичным. Это было скопище всех возможных в те времена штампов. У нас ведь жилось хорошо, а в Америке плохо? И американские коммунисты только и думали, как свалить в СССР? Ведь об этом писали в «Правде»! Герой мой был сыном именно американского коммуниста, удравшего в СССР от гнусной капиталистической жизни. А еще у нас писали, что там негров угнетают. Вот

герой мой и был тем самым негром, о чем и объявлял в самом начале рассказа. «Здрасьте, — мол, — я негр».

В общем, с героем и сюжетом все ясно. То есть, это сейчас ясно, а тогда я искренне думал именно так, как писал, а писал о том, что думал: у нас лучшая в мире страна, американцы спят и видят, как бы переехать на ПМЖ к нам и участвовать в нашей космической программе.

Я аккуратно переписал рассказ в тетрадку и отправил в «Технику — молодежи». Сейчас не помню, почему туда, а не в «Знание — сила». Может, подсознательно совесть говорила? Идею увел из рассказа, опубликованного в «Знании — сила», вот и отправил свой опус конкурентам.

Отправил я тетрадку с рассказом в мае и ответа, насколько помню, не ждал вовсе. Летом мы всем классом отправились на сельскохозяйственную практику — в село Ивановка, где жили потомки сосланных на Кавказ еще при Екатерине ставроверов-молокан. Пропалывали виноградники, неплохо проводили время по вечерам.

Когда вернулся домой, меня ждало письмо из «Техники — молодежи». Письмо, конечно, тоже не сохранилось, хотя хранил я его долго, как и другие письма из редакций. Но как-то мама (уже в восьмидесятых годах) делала генеральную уборку и выбросила кучу ненужных, по ее мнению, бумаг, в том числе и письма из редакций. Текст того первого письма я, впрочем, запомнил, тем более, что письмо было короткое:

«Дорогой Павел! Редакция получила твой рассказ «Икария Альфа». Рассказ редакции понравился. Он будет опубликован в № 10. С уважением, редактор отдела фантастики Ю. Келер».

Сказать, что я удивился, значит — ничего не сказать. Первого сентября я притащил письмо в школу и всем показывал. И честно говоря, не верил в то, что рассказ напечатают, пока уже в начале ноября, как раз перед праздниками, не вытащил свежий октябрьский номер из почтового ящика (есте-



Научно-фантастический рассказ

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

Рис. Р. АВОТИНА

Разрешите представиться. Меня зовут Сэллиот Джонс, негр. Родился в Америка, в небольшом городе на берегу Миссурин несколько недель спустя после того, как отправился в полет первый спутник Земли. Этому событию я, как и все наскоки страны, приветствовал имением. Мой отец был физиком и работал в Балтийском университете. Когда мне было два года, он имел смелость выступить в поддержку требований о запрещении ядерного оружия и поплатился за это ядкой: как борцы за мир и как негр. Он потерял работу, и наша семья не имела больше средств к существованию.

Четыре года спустя отец отправился в СССР в составе неигретянской делегации. Эта поездка изменила всю нашу жизнь, потому что отец принял советских подданных, и мы с матерью, с трудом получив визы на выезд, уехали в нашу в СССР. Сюда мы жили в Москве, отец работал в научно-исследовательском институте, я поступил в школу. Я быстро научился говорить по-русски, и наша семья не имела больше средств к существованию.

Дальше моя история не представляет собой ничего особыного: окончил школу, работал, продолжал учиться. Теперь я радиоинженер, работаю на Кавказской метеосферах станции, занимаясь проблемой радиоуправления космосферных ракет.

Вот и асса моя биографии. Я написал ее по просьбе Барнса. Он говорил, что эта моя история, читатели лучше поймут ее, не соглашаясь с ней, но все же спорить не буду. Пусть так. Вы наверно, знаете Барнса — астроном, занимается изучением астероидов. Он стал известным после того события, о котором пойдет речь дальше. Это событие было в свое время предметом обсуждения в научном обществе мира.

Недавно Барнс меня спросил:

— Знаете, Джонс, было бы хорошо, если бы кто-нибудь написал рассказ о Иакине Альфе. Может быть, вы сделаете это?

Рассказ, который мы публикуем, написан учеником 9-го класса бакинской школы № 1. Автор рассказа — Константин. Ему 15 лет.

Я согласился и записал все, что помнил. И вот рассказ, плохой или хороший, скучный или интересный, но, во всяком случае, без выдумки и преувеличений — перед вами.

...Это произошло семь лет назад. Мне было тогда двадцать три года, я недавно приехал на Кавказ и был поглощен изучением лаборатории.

Свободное время я проводил в мастерской, где ставили телевизоры и приемники. В то время я как раз занимался телевизором, имевшим направляемую антенну в виде «конструкции». С ее помощью можно было смотреть радиовещание из космоса.

В тот памятный вечер я смотрел Москву. В разгар вечера меня вдруг вывело на стартовую площадку. За мгновение толкнул стержневую антенну, но не обратил на это внимания.

Слышал, что в одной из готовых к старту ракет было старое система телепрограммирования. Мне долго пришлось позабыться, пока я нашел неисправность. Когда я вернулся к себе, часы пробили час ночи. Передача из Москвы до кончилась, и экран был пуст.

Я уже собирался выключить телевизор, как вдруг экран начал пресматривать белые полосы. Они начали вспыхивать вместе, расширяться, замигать, все шире, то и распадались на множество малых параллельных, пересекающихся, мелькающих сверху вниз. Постепенно полосы с пылью и сквозь гулмущую пелену стал виден странной формы объект. Несколько пропускавшие эпиллзы разбрасывали все стороны, образуя спиральную пелену из рисунков. Малые эпиллзы расположились прямые линии с разной длиной. Я оторвал взгляд от экрана и послушал их звуки. Ее стержневая антenna должна была быть направлена в ту сторону откуда велась телепередача. Изменились мое спасение, когда я увидел, что стержневая антenna торчала вертикально вверх, куда-то в зенит, туда, где сияла голубь светом Вега.

«Что это значит, — подумал я, — может быть, видел я что-нибудь в ретрансляционной станции на спутнике?» Голос, который пронесся в голову мысль «фотографии изображения». Это было сделано в одну минуту. После этого я связал телефоном телевизорную станцию на метеосферах станции Спирину. Несколько минут спустя Спирин был у меня. Он подошел к телевизору и доказывал изображение.

— Ну что же, спасибо, — сказал я.

Начальник взглянул в мою сторону, снял очки и сказал:

— Это не Земля!

— Но Земля, — переспросил я, удивленный тем, что я сказала.

— Нет. Это передача с Земли. Ясно!

— Опыты со спутниками исконны. Они ведутся как на Земле, вполне отдаленной волны. Об этом между государствами во избежание путаницы существует определенная договоренность.

— Передача с Земли! Но в таком случае откуда? Я просто насторожился на Спирину. Он вдруг сказал, что я отвела своим мыслям:

— Марс! Не может быть... Нет!

— Почему? — осторожно спросил я.

— Потому что, — Давайте, — что Марс сейчас находится

на горизонте, в ультракрасных волнах, как вам известно, распространяются промышленно.

Помолчав, он медленно продолжал:

— Я не вижу никакого смысла в этих эпиллзах. Но я вижу сейчас одну вещь... Скажите, ваш телевизор поддается радиоманипуляции? Значит, если станция будет вестись, антenna будет вестись вперед за нее. А это изменится длины волн, на изображении это не отразится. А теперь смотрите сюда.

Он ткнул пальцем в приборный щиток и прошел:

— Телевизор станции относительно горизонта: эпиллзы сдвигаются вправо, зенитное расстояние одиннадцати градусов тридцать шесть минут. Длина волн — тридцать миллиметров.

— Двадцать девять, — поправил его я, взглянув на прибор.

— Вы правы. Теперь двадцать девять. Нет, уже двадцать семь пятьдесят десятых. А зенитное расстояние

двенадцать градусов! Теперь вы видите! Станция движется

ственном, мы подписывались и на «Технику — молодежи», и на «Знание — силу», это было в те годы трудно, но папа работал в музее Ленина, и у них были свои «лимиты» на подпись. Рассказ занимал четыре журнальных полосы, там

даже были иллюстрации, а под заголовком в рамочке было написано: «Рассказ, который мы публикуем, написан учеником девятого класса Бакинской средней школы № 1. Автор рассказа комсомолец, ему 15 лет». Будто так важно было, что автор – комсомолец! Все старше 14 лет были комсомольцами, эка невидаль. Вот если бы по какой-то причине меня не приняли в комсомол, это было бы необычно и достойно упоминания...

Журнал я тоже, конечно, притащил в школу и сейчас совсем не помню, как реагировали одноклассники и учителя на эту публикацию. Помню другое: как еще через месяц получил на почте денежный перевод – свой первый гонорар: 1322 рубля. Мне это казалось огромной суммой, но ведь дело было еще до денежной реформы, и «на самом деле» это было 132 рубля, чуть меньше месячного оклада мамы и папы вместе. Деньги я, понятно, отдал маме, половина пошла в домашний бюджет, а на оставшиеся я купил первые в своей жизни настоящие наручные часы «Полет». Те самые, что год спустя так коварно подвели меня во время математической олимпиады. Этот физический феномен мне и до сих пор непонятен: и до, и после того злосчастного дня часы ходили прекрасно. Носил я их долго – лет двадцать.

Воодушевившись, я принялся строчить рассказ за рассказом. Следующий рассказ назывался «Ветка сирени», его я тоже отправил Келеру и был уверен, что не позднее чем через месяц получу письмо о том, что рассказ принят. Но письма не было, и я отправил еще один рассказ и написал Келеру, спросил, в чем, мол, дело, отправил рассказы, а ответа нет.

Тем временем в «Технике – молодежи» напечатали картину художника-фантаста Ю. Случевского и предложили читателям написать по ней небольшой рассказ – не больше двух тетрадных страниц. Картина была в советском духе: парень с девушкой, держась за руки, смотрят вдаль, и видны какие-то ажурные строения. Написал и я рассказик.

До конца января я отправил Келеру три или четыре письма с запросами и, наконец, получил долгожданный ответ, который стал ушатом холодной воды – и поделом, конечно. Текст того письма я точно не помню, но примерно так:

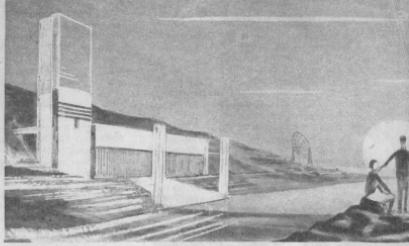
«Тем, что Вы забрасываете редакцию письмами, Вы ничего не измените в решении о публикации. К сожалению, Вы пишете все хуже. Мы решили, тем не менее, опубликовать Вашу подпись под картиной в № 2 за 1960 год, но редакция не может постоянно делать скидку на Ваш возраст. В дальнейшем мы будем относиться к Вам так же, как к любому автору. С уважением, Ю. Келер».

Вот так. И даже на «Вы»...

В феврале в числе прочих опубликовали и мой рассказик «Тропой отважных» («оригинальное» название, не правда ли?). Эти номера журнала у меня до сих пор хранятся – потрепанные, конечно, но живые.

После того, как Келер сделал мне письменный выговор, я не то чтобы обиделся (хотя и обида тоже была), но понял, что зарвался. Выбросил все тетрадки, исписанные не очень внимательным почерком (точнее, спрятал подальше, но много позже действительно выбросил), и, чтобы начать «новую жизнь», стал сочинять длинную повесть с названием «Шестая межпланетная» – о полете на какой-то из спутников Юпитера. Тоже ерунда была, конечно, причем длинная. У меня не было настроения даже переписывать этот опус набело, за меня это сделал папа – на больших (как сейчас говорят – формата А4) очень тонких, почти папиросных, листах он переписал повесть через копирку, чтобы получилось четыре экземпляра. Там оказалось страниц двести, папа на работе эти листы аккуратно переплел, и первый экземпляр я все-таки решился отправить в журнал. Конечно, не в «Технику – молодежи», а на этот раз к их конкурентам: в «Знание – сила». И что самое интересное (вот игры судьбы!), читать этот опус редакция передала писателю Георгию Гуревичу, тому самому, чей рассказ

ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК, ДЕРЗНОВЕННЫЙ ДЕЛА ЕГО, КРИЛАТЫ ЕГО МЕЧТЫ



ОТВЕЧАЮТ ЧИТАТЕЛИ И ГОРЮ КОЛОНТАЮ

Рис. Ю. СЛУЧЕВСКОГО

В ДЕВЯТОМ номере нашего журнала за 1959 год был опубликован рисунок читателя Игоря Колонтая с просьбой поделиться о том, что изображено на рисунке.

Стали приходить письма. Первое, второе, третье, четвертое, письма, и так целый поток. Писали полоними в конверт и написали: «стоп. Затем завели еще один конверт и написали: «стоп. И так и так, вплоть до 467. А письма все идут. «Откуда бы вы привезли письма?» — из Заполярья или из Грузии, из Москвы или из Вологодской области, с Черниговщины или из Белоруссии, из Краснодарского края или из Петрозаводска; написал ли его ученик 8-го класса или начальник работников, или инженер, или рабочий, или инженер или рабочий, или он написан по поручению бригады коммунистического труда? Или это письмо из кабинета, из здания инженера или стихотворение, отрывок из дневника или стихотворение, отрывок из письма, утвержденное одним «великим человеком, дерзновенным дела его, крылаты его»? Или нет?

Нет, это не просто письма — описание рисунка. Это думы о будущем, желания привести в исполнение, о будущем общества. И герои авторов писем очень знамениты и близки нам. Всеми заинтересованными читателями они являются, являются всеми советскому человеку, наделили их чистотой и честностью. Герои писем стремятся к тому, чтобы создать мир, мир творчества, они верны в дружбе, готовы к подвигам.

Так же, как наши космонавты в стыku и пурпурной строили на Амуре Комсомольск, так же, как наши строители в домах, героям одноты из рассказов на далекой Зеленой планете строят научные центры, научные институты.

Так же, как в годы Отечественной войны не задумываясь, на полях солдат, не опасаясь опасности в новых мирах отважные космонавты в душе и в сердце.

«Чай и 2705 году случатся несчастья», — говорится в третьем. Часами идут отходы вправо и влево, и вправо и влево, чтобы человек жил. Разве не так поступают наши врачи?

Всеми, всеми людьми и миру. И это стремление, выражено во многих письмах читателей.

Давно, давно писали о Земле, что такое пушки и бомбы. Атом служит только добрыми целями. Совместными усилиями ученых и инженеров на Земле и на Земельные солнца в Заполярье и Антарктиде. Новые районы основаны для жизни.

И вот, что же происходит? И вот, счастье — что же говорится в письмах, вот, что мечтают люди и чему они стремятся?

С лучшими из присланных писем мы знакомим читателей. И вот, что пишут все наши корреспонденты, приславшие ответ на рисунок Игоря Колонтая.

АЗАНТА

Чужой неяркий Солнце всходило над этой далекой прекрасной планетой, сквозь толщу воздушную тусклю светло с глубоких небес изумрудного цвета.

Мы можем прощаться у берега моря, зеленого моря со звучным называнием... Ступали к морю спускались...

в зеленых предгорьях устроились здания.

За стеклами зданий никела работа, саванты, гудели, считали приборы: осталось четыре часа до отлета, четыре часа — на прощание и сборо.

Как будто вчера лишь во время посадки тревожно и жалобно всплая сирена... И вот мы исправили все неполадки, и автобус перед нами дороги въездели.

Нас дружески встретила эта планета, где все необычно и все незнакомо... Котору отпути земная ракета. Пора нам, нас ждут с нетерпением...

но что-то в груди у меня защемило, в минуту прощания сердце тревожа: Прощай, до свидания, изумрудные горы, не жажди счастья! Здравь ты пока же! Чужое светло всходило все выше, и все было светом, зеленым залито.

И ты удивился, должно быть, услышав, как я тебе тихо назвал Азантой.

Москва Н. БАЗОВ

ТРОПОЙ ОТВАЖНЫХ

— Вот и «Тантала» улетел, Людя.

Девушка не отвечает, молчит. О чем думает она? Может быть, вспоминает разрыв, хлопнувший по ее синим щекам, который торжественно и мелодично читал диктор: «При посадке на Венеру погиб командир планетолета «Паллада» Сергей Браневич»?

Девушка вспоминает, как изумрудный обелиск установили в память о космонавте Браневиче, ее отец?

Девушка заговорила неожиданно:

— Здесь погиб отец, он не увидел новую Венеру, Петя.

— Здравствуй, будешь работать ты, Людя. — Юноша подходит к храю скалы, смотрит на море. — Слушай. Мы привели сюда на девять ракетах. Это были хорошие большие корабли. Девять кораблей одни за другим ринулись в облаки спасения. Небо из фиолетовых облаков разрывали багровое небо. Девять раз содрогалась почва. И девять гигантов встали рядом, уткнувшись в песок широкой косы. И девять раз вышли люди из кораблей.

Выгружен машины. Началась война пикника страйка. Ты не предсталаешь себе, как это было грандиозно... и опасно. Здесь пропускали такие ураганы, что чешуя тонких щепок, несло на землю. Работать было опасно. Было неудобно. Слушай, что не затягивало кислорода. И все-таки люди шли, работали, строили.

Когда был построен первый дом-колокол, на планету прибыли биологи. Они привезли с собой различные аппараты. Эти аппараты, как растения, поглощали углекислоту и выделяли кислород. Куда только не забирались биологи с своими аппаратами! Они побывали на краю кратера Венера-Браневича, спускались в темные ущелья, были даже на страшном Южном болоте. И Венера сдалась. Она отступила перед силой, котораяоказалась сильнее всех ее стихий. Успокаивались бури, прояснялось небо. Увеличивались

«Инфра Дракона» я использовал, когда писал «Икарию Альфу»! Наверняка Гуревич читал мой рассказ в «Технике — молодежи». Но в своей рецензии, которую я получил месяца два спустя, об этом не было ни слова. А написал Гуревич, что

намерения, мол, у автора хорошие, но повесть слабая. Сюжет рыхлый, персонажи неотличимы друг от друга, и так далее. Письмо было довольно длинное, и я его давно потерял, но помню два момента. Один – когда Георгий Иосифович цитировал фразу из моей повести, чтобы показать, насколько коряво она написана. Фраза была такая: «Горный хребет свернул перпендикулярно своему предыдущему направлению». Полагаю, таких фраз в тексте было более чем достаточно. Второй момент: в конце письма Гуревич написал, что, мол, «ты умный мальчик, Павлик, но надо учиться. Учиться писать и, прежде всего, для этого нужно много читать. Читать классиков: Чехова, Горького, Толстого»...

Классиков я читал – всех, кто входил в школьную программу. А сверх программы читал фантастику. Исключение составлял только Шекспир. Шекспира мы по программе должны были «проходить» в десятом классе, а мы с мамой после девятого класса поехали летом в Кисловодск (с нами тогда поехал и Тромбон с мамой и сестрой), и там я на месяц записал в библиотеку при Курзале. Как-то взял почитать томик Шекспира и не смог оторваться. За месяц перечитал все, что было в библиотеке, а, вернувшись домой, взялся за недавно вышедший восьмитомник – полное собрание сочинений – и проштудировал его от корки до корки, включая кровавого и всеми режиссерами нелюбимого «Тита Андроника». Говорил я в те месяцы частенько цитатами из Шекспира – не потому, что хотел кого-то удивить, а просто в голову приходило.

* * *

Года два я никаких рассказов не писал. Решил, что писателя-фантаста из меня не выйдет. Правда, и времени особого на писанину не оставалось – десятый-одиннадцатый классы: последние годы учебы, много задавали, а потом экзамены... Я шел на золотую медаль, по всем предметам у меня были пя-

терки, и на экзаменах тоже. Помню щекотливую ситуацию, возникшую на последнем экзамене – по литературе. Писали сочинение, я уж не помню на какую тему. Написал я все нормально, но, как потом оказалось, забыл поставить запятую. И эта единственная отсутствующая запятая не позволяла комиссии поставить пятерку. Следовательно, золотую медаль я бы не получил. Ну и ладно, меня это тогда совсем не интересовало, но волновало учителей – получалось, что школа не имела бы в том году ни одного золотого медалиста. Кошмар...

И однажды в нашу дверь позвонили. Мама открыла: в коридоре стояла делегация жутко высокого уровня: директор школы Арон Давидович, учительница литературы Анна Исааковна, какой-то дядя из РОНО (ведь сочинение проверяла комиссия из РОНО). Они принесли два тетрадных листка с моим сочинением, чтобы я у них на глазах той же ручкой, какой писал в школе, поставил на место злосчастную запятую. Под их пристальными взглядами я запятую поставил, после чего все удовлетворенно вздохнули и удалились. За сочинение я получил пятерку и, соответственно, золотую медаль. С тех пор моя фотография висела в фoyе школе много лет на доске золотых медалистов (может, и сейчас висит). Но запятую ту я помню...

* * *

Вернусь, однако, в девятый класс, к первому рассказу. Через месяц после выхода журнала из Москвы стали поступать письма от читателей. Они писали в редакцию, редакция пересыпала мне. Писем, как мне тогда казалось, было очень много. Сейчас понимаю, что не так уж. Десятки, да, но не сотни. Практически все – от сверстников, тоже учеников старших классов. Точнее – учениц. Большинство писем было от девочек, содержание практически одинаковое: «Прочитал(а) твой рассказ в журнале. Очень понравилось. Давай переписываться». При моей тогдашней некоммуникабельности

переписываться с незнакомым человеком было мучением. О чем писать? О школе, учебе? Отвечал-то я всем, сейчас уж и не помню – что именно. Помню только, что все письма вместе со мной читал Тромбон, в конверты часто были вложены фотографии, Тромбон выбирал девочек покрасивее и отвечал им от моего имени. Надолго его не хватало, но несколькими письмами они обменивались. Одна девочка была из ГДР, с ней Тромбон переписывался довольно долго. А я помню двух своих «корреспондентов». Одним был Толя Фоменко, тоже в то время ученик девятого класса, из Донецка. Тогда же, когда в журнале вышел мой рассказ, у Толика в «Пионерской правде» из номера в номер печаталась повесть «Тайна гревшей планеты». Повесть мне нравилась, и я очень обрадовался, получив письмо от автора. Оказалось, что Толик тоже интересуется астрономией, физикой, любит фантастику – в общем, нашлось много тем для разговора. Свои письма Толик печатал на пишущей машинке, как настоящий писатель, а я свою первую машинку, старый дореволюционный Ундервуд, приобрел значительно позже, на втором курсе университета. С Толиком мы переписывались больше года, обсуждали разные проблемы мироздания – сейчас, конечно, не помню, какие именно. Письма, к сожалению, не сохранились, хотя было бы очень интересно их перечитать, учитывая, кем стал впоследствии Толик. Прервалась переписка, когда мы не сошлись во мнениях по поводу опытов Резерфорда. Не сошлись не в принципиальном вопросе, просто я поймал Толика на неточности, и он, видимо, обиделся. Он написал что-то о «французе Резерфорде», я напомнил, что Резерфорд был англичанином, и на это письмо Толик не ответил. Поскольку других причин для разрыва отношений я не видел, то и решил, что Толик обиделся за Резерфорда. Может, и не так, не знаю.

Я вспомнил о Толике много лет спустя, когда появились первые исследования академика Анатолия Фоменко по по-

воду «неправильной датировки исторических событий». Я не сразу понял, что академик-математик Фоменко и Толик – одно и то же лицо. Но лицо действительно было одно и то же – отождествил по фотографии. Конечно, за много лет Толик сильно изменился, но узнать все-таки было можно. Так что, в некотором смысле, и я тоже стоял у истоков фоменковщины...

Другая активная и довольно долгая переписка была у меня с Олей Штейнберг из Куйбышева. Она тоже тогда училась в девятом классе, прислала фотографию – я и сейчас эту фотографию помню в деталях: большие глаза (почему-то я был уверен, что голубые, как у меня, хотя фотография была черно-белой), высокий лоб, гладкая прическа с пробором... В отличие от переписки с Толиком, с Олей мы научных проблем не обсуждали, разговаривали о школе, об учителях... Через год переписки (не такой уж интенсивной, письмо в месяц примерно) разговор зашел о музыке, и неожиданно выяснилось, что Оля тоже любительница оперы. В Куйбышеве тогда был очень хороший оперный театр, один из лучших в Союзе. Я даже видел два спектакля Куйбышевской оперы, когда она гастролировала летом в Кисловодске. Помню, как я радовался, увидев в репертуаре оперу Верди «Эрнани». Я тогда и не чаял когда-нибудь эту оперу услышать – пластинок не было, а опера эта – из ранних вердиевских, исполнялась она вообще редко, а в Союзе – только в Куйбышеве. Конечно, пошел в Курзал на представление и до сих пор помню декорации. Правда, кроме декораций, не помню ничего. И еще я в то лето был на представлении у куйбышевцев оперы Рубинштейна «Сказ о купце Калашникове». Это мне совсем не запомнилось.

В общем, стали мы с Олей разговаривать об опере. «Самая светская беседа», – как сказала бы кэрроловская Алиса. Я написал о своих кисловодских впечатлениях, о том, как мне не особенно понравился некий тенор (фамилию уже не помню),

который пел Эрнани. Оказалось, что этого певца Оля очень любит, считает, что у него великолепный голос. Я возразил... На это письмо Оля не ответила, и переписка заглохла. Мне почему-то кажется, что она обиделась за тенора, хотя на самом деле причина могла быть совсем иной...

* * *

В пятом классе я записался в астрономический кружок при Дворце пионеров. Вообще-то небо меня всегда... манило, наверно, пышно сказано, но действительно... иные миры, звезды... Когда отец сказал, что во Дворце пионеров есть астрономический кружок, я, естественно, пошел записываться. Руководил кружком Сергей Иванович Сорин – личность уникальная. Он был совершенно одинок – и тогда, и всю жизнь. Никогда о себе не рассказывал, и я лишь много лет спустя узнал, что у него была любовь – на фронте случился роман с девушкой-санитаркой. Обычная по тем временным история. Девушка погибла в последние дни войны, и Сергей Иванович никогда больше не посмотрел ни на одну женщину. Астрономический кружок составлял весь смысл его жизни.

Сергей Иванович не следил за собой, ходил в единственном костюме, а когда у него в довольно еще молодом возрасте стали портиться и выпадать зубы, он не стал их лечить, они все выпали, он так и ходил беззубый. Его это нисколько не трогало. Все деньги он тратил на кружок. Конечно, Сергей Иванович много рассказывал о небе, но главное – мы с ним сами изготавливали телескопы. Сами шлифовали и полировали зеркала, сами делали монтировки для телескопов. Сергей Иванович добился, чтобы во Дворце пионеров создали хорошую токарную мастерскую (скорее всего, и станки Сорин покупал на свои деньги), там мы вытачивали детали. Только на алюминирование зеркала отправляли в Питер, в ЛОМО, а все остальное – сами. Для любителей это было действительно



С.И. Сорин

большие телескопы: самый большой имел зеркало 60 см в диаметре, не во всякой обсерватории такие были. У нас получались замечательные фотографии звездного неба, туманностей, галактик, планет... Огромная фотография Луны в первой четверти висела на стене в комнате, где мы занимались, другие стены были увешаны фотографиями поменьше.

В десятых классах в те годы изучали астрономию, и как-то Сергей Иванович устроился преподавать этот предмет в одну

из школ. Проработал он полгода, и его попросили уйти, потому что в первом же полугодии он выставил всем ученикам по единице в таблице, и только одному – двойку. Когда изумленный завуч спросил, что это значит, Сергей Иванович объяснил, что никто ни черта не усвоил и ни бельмеса не знает. Поэтому – кол. И только один ученик знает, но плохо, вот и получил плохую оценку, то есть двойку.

Летом кружок выезжал на наблюдения в Пиркули – туда, где



Наблюдательная площадка кружка в обсерватории

потом построили обсерваторию (когда построили, кружок продолжал туда ездить). Но меня мама ни разу не отпустила в эти экспедиции, боялась, что в горах мне станет плохо – врачи тогда диагностировали у меня комбинированный порок митрального клапана и запретили физические нагрузки. А поездка в горы – нагрузка. К тому же, высота полтора километра. Потом я в той обсерватории проработал почти четверть века. Оказалось, что высота вовсе на мое сердце не влияла, но это уже другая история...

* * *

В детстве я часто болел ангинами. В школу две недели ходил – неделю сидел дома. А ангины серьезно отражаются на сердце. Мне было лет 12, когда в детской поликлинике наша районная врач услышала у меня в сердце сильные шумы и направила к кардиологу. Кардиологом работала очень хорошая и знающая женщина, жена известного в городе хирурга Кажлаева, мать известного композитора Мурада Кажлаева. Она послушала меня и мрачно сказала маме, что «надо провериться». В результате проверок у меня обнаружили комбинированный порок митрального клапана – то есть, два порока сразу: сужение и искривление перегородки.

Пичкали какими-то лекарствами, но это было бесполезно. За это время сам Кажлаев успел у меня вырезать гlandы – тогда думали, что это может помочь, по крайней мере, избавит от ангин.

Ничего не помогло. Когда я оканчивал школу, повели меня к лучшему детскому врачу города, доктору Листенгартен, ей было уже немало лет, и опыт в лечение любых детских болезней она имела огромный. Она меня послушала, постукала и сказала: «Молодой человек, вы, в принципе, можете и до восьмидесяти дожить, но при одном условии: жесткая дисциплина, режим, не пить, не курить, тяжести не поднимать, физической работой не заниматься...» И добавила: «Может,

когда-нибудь научатся такие пороки оперировать, тогда вам сделают операцию...».

В армию меня не взяли, выдали военный билет, в котором значилось: «Рядовой, необученный, не годный в мирное время, годный к нестроевой службе в военное время».

Так и жил, все знали, что у меня больное сердце и пытались относиться соответственно. Регулярно, раз в года три, делали мне кардиограмму, которая, естественно, показывала то же, что прежде. Всякий раз я ловил на себе сочувствующие взгляды врачей: мол, не повезло человеку, до пенсии явно не дотянет...

Последний раз в Баку делал кардиограмму перед отъездом в Израиль – нужно было представить в ОВИР медицинскую справку. В эпикризе было написано: «комбинированный порок митрального клапана»..

В Израиле, как положено, записался в больничную кассу и отправился на прием к домашнему врачу: встать на учет. Домашний врач прочитала документы, покачала головой, послушала, постукала и направила на новую кардиограмму и на ультразвук. И там, и там диагноз подтвердили.

Так и жил – с ощущением, что завтра может что-то заклинить, и...

Через пару лет у меня поднялось давление – первый раз в жизни. Мы успели за это время переехать и жили не в Иерусалиме, а в Бейт-Шемеше. Там я еще в поликлинику не ходил, и домашний врач меня не знала. Померила давление, сделала укол, спросила – на что еще жалуюсь. Я сказал: сердце, мол. Рассказал свою историю, она посмотрела эпикризы и отправила в соседнюю комнату – сделать кардиограмму.

Врач налепил на меня датчики, посмотрел на ленту, выползвшую из самописца, смотрит, сделал удивленное лицо и сказал:

«Это вы на сердце жаловались?»

«Я».

«Ничего у вас нет, – сердито объявил он, распознав, видимо, во мне симулянта, – абсолютно здоровое сердце! Четкий ритм, ровные зубцы, никаких отклонений от нормы».

Немая сцена.

Для проверки меня отправили на обследование ультразвуком. Там посмотрели и сказали: абсолютно здоров.

Вторая немая сцена...

И финал это очень странной истории: домашний врач заявила, что раньше, может, и был порок, раз столько кардиограмм это показывали, но сейчас нет ничего.

«Как это возможно?» – спросил я.

«Ниак», – ответила она. – Не встречала в медицинской литературе случая, чтобы митральный клапан вдруг сам собой исправился. Это же не функциональное нарушение, это физический дефект перегородки!»

«И что дальше?» – спросил я.

«Желаю вам, – сказала она, – дожить до ста двадцати. С таким сердцем, как у вас, это вполне реально».

А в компьютер записала: «Спонтанная реабилитация».

Лет десять спустя я написал повесть «Маленький клоун с оранжевым носом», где с главным персонажем происходит примерно такая же история. Но то фантастика...

А что произошло в реальности?

* * *

Сергей Иванович уговаривал меня ехать после школы в Москву и поступать в МГУ, а мама с папой были против. Во-первых, не представляли, как будут жить без любимого сыночка, а во-вторых (и в главных) не было денег, чтобы меня в Москву отправить. Сергей Иванович несколько раз приходил к нам домой уговаривать родителей. Мама к его приходу готовила суп, поскольку Сергей Иванович не мог есть ничего твердого. Разговор продолжался часами. Ничем это не кончилось, никуда я не поехал, поступать пришлось на физфак в

Баку. С мечтой о том, чтобы стать астрономом, я тогда, как мне казалось, рас прощался окончательно.

Помню вступительные экзамены. Физику принимали двое лаборантов из лаборатории общей физики – потом они у нас вели лабораторные работы на первом и втором курсах. На билет я ответил нормально, а потом один из экзаменаторов (потом я узнал, что звали его Николай, а фамилия у него была Бездетный) сказал: «Я тебе покажу схему и задам вопрос. Ответишь – получишь пятерку». Я перепугался, подумал: сейчас он та-а-кое спросит. Экзаменатор нарисовал простенькую схему замкнутой электрической цепи и спросил: «За счет чего эта цепь работает?» Честно говоря, я подумал, что тут наверняка какой-то подвох. Как это: за счет чего? Вот же значок: химическая батарея. Подумав минуту и не найдя никакого другого источника, я ткнул пальцем в значок и, ожидая, что сейчас меня поднимут на смех, сказал, что энергия берется из батареи. Экзаменаторы переглянулись, и Бездетный сказал: «Наконец! До тебя ни один абитуриент не смог на этот элементарный вопрос ответить!» А я не мог представить, как можно не знать такие элементарные вещи. Как же люди на физфак-то шли?

Это к вопросу о том, что раньше студент был ого-го, не чeta нынешним...

Впрочем, на физфак тогда в Баку не особенно рвались. В МГУ, Физтех, МИФИ были огромные конкурсы, а у нас на дневном отделении физфака – полтора человека на место. На вечернем и того не было – мест было двадцать, а абитуриентов одиннадцать. Приняли, конечно, всех. В том числе и Тромбона. Он по натуре классический гуманитарий, физику терпеть не мог, но решил поступать туда же, куда я, за компанию: друзья все-таки. Понимал, однако, что даже при конкурсе полтора человека на место шансов пройти у него нет, а потому подал документы на вечернее отделение. Как там принимали экзамены, можно судить по математике. Когда он по-

казал мне, как решил экзаменационную задачу, у меня волосы встали дыбом – я был уверен, что Тромбон получи «пару».

Задача была простенькая – по тригонометрии: чему равняется $\sin x + \sin 2x$? Тромбон, долго не думая, написал: $\sin 3x$. Получил по математике четверку и был принят. Правда, до конца университета он не дотянул – душа у него все же не лежала к физике-математике. После второго курса, еле выдержав физико-математические премудрости, он отправился в Ленинград поступать в университет на факультет востоковедения, на китайское отделение. Китай ему тоже был не интересен, но это, во-первых, все же лучше, чем физика, а во-вторых, на китайское отделение практически не было конкурса. Так Тромбон и оказался в Питере, где живет и сейчас. Но это все – другая история...

Вернувшись к вступительным экзаменам. Сочинение.

Никогда не любил писать сочинения на заданные

темы вроде: «Образ такого-то там-то». Всегда в школе выбирал «свободную» тему. На вступительных предложено было написать: «Почему я хочу стать физиком». Я и написал – почему НЕ хочу стать физиком. Написал, что хочу быть астрономом, но вынужден поступать на физфак, а физику хоть и люблю, но не имею никакого желания работать учителем физики в средней школе. И все в таком духе. Написал, однако, без ошибок и получил четверку. При тамошнем конкурсе вполне хватило.



А.И. Михайлов (Тромбон) в 2002 г.

* * *

После второго курса я все же решил попробовать перевеситься в МГУ. Денег к тому времени дома не стало больше, но

я уже был немного увереннее в себе и решил попробовать. Прочитал несколько книг и трудов конференций по космологии, написал в тетрадке что-то вроде реферата и отправил в ГАИШ (Государственный Астрономический институт имени П.К. Штернберга при МГУ) самому Якову Зельманову – он был тогда ведущим космологом в СССР, известный в то время ученый... Ни на что не надеялся, но неожиданно получил от Зельманова письмо, в котором он писал, что работа ему понравилась, и он был бы рад видеть меня своим учеником. Имея такое письмо, я после второго курса отправился в Москву. Мама поехала со мной, жили мы у родственников жены моего дяди, папиного брата.

В ГАИШе все прошло хорошо, Зельманов поговорил со мной, подписал нужные бумаги, потом эти бумаги подписал директор ГАИШ академик А. Михайлов, милейший старичок, он со мной целый час о чем-то беседовал, совершенно не помню о чем. Потом бумаги подписал декан физфака В. Фурсов. Все они были «за» (правда, с условием, что я продолжу обучение не на третьем курсе, а опять на втором – все же в МГУ давали более серьезные знания, чем в нашем университете, и нужно было догонять). Оставалась формальность: утверждение на деканском совещании. После бесед с Зельмановым, Михайловым и Фурсовым я был абсолютно уверен в том, что в Баку уже не вернусь.

Но... Было лето, август, все разъехались, уехали отдохать и Зельманов, и Фурсов, и Михайлов. Деканское совещание вел В. Саломатов, заместитель декана. Как это происходило, я четверть века спустя описал в повести «Высшая мера». Эпизод о том, как герой повести пытался перевестись в МГУ, там описан один к одному:

«Вопрос решался на деканском совещании. На физфаке толстенные двери, а нам – нас пятеро переводились из разных вузов страны – хотелось все слышать. С предосторожностями (не скрипнуть!) приоткрыли дверь, в нитяную щель

ничего нельзя было увидеть, но звуки доносились довольно отчетливо. Анекдоты... Лимиты на оборудование... Ремонт в подвале... Вот, началось: заявления о переводе. Замдекана:

— Видали? Пятеро — Флейшман, Носоновский, Газер, Лесницкий, Фрумкин. Прут, как танки. Дальше так пойдет... Что у нас с процентом? Ну я и говорю... Своих хватает. Значит, как обычно: отказать за отсутствием вакантных мест.

Мы отпали от двери — все пятеро, как тараканы, в которых плеснули кипятком».

Началась депрессия. Жизнь кончена, астрономом мне точно не быть, а физиком не хочу. К тому же, наш университет выпускал, в основном, школьных учителей физики. Преподавать я не любил, не хотел и не умел. Мрачно размышлял о смысле, точнее, о бессмысленности жизни... Не знаю, как бы это закончилось, но однажды купил я в музыкальном отделе ГУМа пластинку с записью Пятой симфонией Бетховена. Ее финал меня и спас. Музыка меня действительно вернула на этот свет.

Домой я возвратился из Москвы уже живой, но уверенный в том, что работать астрономом мне не суждено. Правда, оставалась очень небольшая надежда как-то устроиться в Шемахинскую обсерваторию, которая только недавно открылась у подножья горы Пиркули, куда астрономический кружок ездил на наблюдения. Но в обсерватории у меня не было никаких знакомых, и я не представлял, как туда поеду, что скажу...

Тогда и произошло событие, какие случаются, может, раз в жизни. Когда я уже перешел на пятый курс, как-то пришел утром на занятия. У двери в аудиторию стоял молодой мужчина, серьезный, лет тридцати. Спросил: не моя ли фамилия Амнуэль.

«Мое имя Октай, — сказал он, — я замдиректора Шемахинской обсерватории по науке. Недавно назначили. Сам я только что защитил кандидатскую диссертацию и хочу взять сту-

дента, работать с ним над дипломом. Декан мне сказал, что вы интересуетесь астрономией. Хотите работать со мной?»

Конечно! Октай Хангусейнович Гусейнов стал моим научным руководителем. Сначала я писал с ним диплом. Темой были «Некоторые особенности наблюдения нейтронных звезд». Потом он, как заместитель директора по науке, прислал в университет персональный вызов – и, защитив диплом, я оказался в той самой обсерватории, о которой мечтал. С Октаем мы потом работали вместе 23 года, пока я не уехал в Израиль, а он вскоре – в Турцию, потому что в Азербайджане наукой заниматься стало невозможно. Много чего мы сделали за эти годы. Например, за три года до открытия предсказали рентгеновские пульсары. В начале семидесятых писали о том, что в Галактике должно быть десять тысяч слабых рентгеновских источников, и природу их описали. Нам говорили, что слабых рентгеновских источников вообще не должно быть, поскольку, чем слабее излучение, тем оно «мягче», слабые источники окажутся не рентгеновскими, а ультрафиолетовыми. Через несколько лет оказалось, что мы были правы, сейчас в Галактике известны тысячи слабых рентгеновских источников...

В середине семидесятых мы составили самый большой по тем временам каталог рентгеновских источников и не знали сначала, где его публиковать. Огромная работа, больше ста страниц, в московский «Астрономический журнал» ее не приняли бы просто из-за объема.

Летом 1978 года в городе ученых Протвино, под Москвой, состоялось первое (и последнее) советско-американское совещание по рентгеновской астрофизике. Мы с Октаем поехали и взяли с собой каталог: это была коробка с карточками из плотной бумаги, для каждого источника была отдельная карточка, на которой записаны все известные к тому времени параметры: координаты на небе, область ошибок, интенсивность излучения, переменность, данные о спектре... Из США

на совещание приехали все руководители американской космической рентгеновской программы. Наш каталог я показал главному «рентгенщику» Джорджу Кларку. Он поглядел и сказал: «Это надо срочно отправлять в “Astrophysical Journal”». Я объяснил непонятливому американцу, что это невозможно, потому что этот журнал (ведущий в мире по астрофизике) платный. Чтобы опубликовать там статью, нужно платить 60 долларов за каждую страницу, в нашем каталоге получится страниц двести, а у нас даже одного доллара нет!

«Ничего, – сказал Кларк, – присылайте, остальное вас не касается».

Конечно, всю информацию и выводы надо было еще изложить на хорошем английском. Кларку я показывал таблицы, а не текст. Перевели с грехом пополам, отправили. Месяца через два получили письмо из журнала: материал представляет большой интерес и будет опубликован в таком-то номере. К письму была приложена бумага, согласно которой мы должны были заплатить за публикацию около шести тысяч долларов.

Мы написали письмо Кларку, но на публикацию уже не надеялись. Шесть тысяч! Огромные деньги! Прошел еще месяц, и из США пришло новое письмо, в котором говорилось, что вопрос оплаты улажен, за нас заплатил Колумбийский университет.

Каталог был опубликован в «The Astrophysical Journal, Supplement series».

* * *

Расскажу, как не стал философом. Занятия по марксизму-ленинизму мне никогда не нравились – а кому они вообще нравились? Скука. Но на третьем курсе появился у нас молодой энергичный преподаватель по фамилии Оруджев. Лекции он читал не стандартные, сам занимался философией физики,

философскими проблемами теории относительности. Философки хотел объяснить, почему длина предмета при субсветовых скоростях уменьшается. Стало интересно, но к семинарам я все равно не готовился.

Как-то Оруджев остановил меня после лекции (кто-то ему успел сообщить, что я интересуюсь теорией относительности) и стал рассказывать о своих идеях. Идея была такой: длина меняется потому, что предмет одновременно находится в данном месте и не находится в нем. Я ничего не понял, но любопытно было порассуждать. Оруджев, наверно, решил, что мне действительно интересно, и на следующем семинаре вызвал отвечать. Семинар был на тему «Материальное единство мира». Никто, конечно, не читал работу тов. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», я тоже. И вот стою я, тупо глядя на преподавателя, а он смотрит на меня и ждет ответа. Минута молчания – Оруджев начинает понимать, что напрасно на меня понадеялся, а я начинаю понимать, как разочаровал человека. И тут вспоминаю единственную фразу – не из книги, конечно, а как-то где-то слышал. Вроде Ленин где-то писал.

– Ну... – сказал я мрачно. – Как известно, в мире нет ничего, кроме вечно движущейся и вечно развивающейся материи.

Точка. Больше мне сказать нечего, я продолжал смотреть на Оруджева, он тоже понял, что больше от меня слова не добьется, и торжественно заявил:

– Вот! Это абсолютно точное и краткое определение темы нашего семинара! Отлично!

Краткое, да... После того семинара Оруджев и решил сделать из меня философа. Оставлял после семинаров, беседы беседовал. Поговорить было интересно, но не больше. А когда я перешел на пятый курс, он неожиданно говорит:

– Закончишь университет, иди ко мне в аспирантуру. Философия физики – увлекательное занятие.

Ага, как же... Как раз тогда появился Октай, и я уже всей душой и мыслями был в обсерватории. С другой стороны, обидеть человека тоже не хотелось. И что делать? Тут как раз подоспело распределение. У меня-то уже был вызов, а у моего приятеля Лёвы Буха вызова не было, и по распределению он должен был поехать куда-то в Тюменскую область. Я ему и сказал: почему бы тебе вместо меня в философию не податься? Лева подумал и решил: лучше быть философом, чем преподавать физику в Тюменской глубинке. Подвел я Лёву к Оруджеву и предложил замену. Тот скептически посмотрел, подумал... В общем, пошел Лёва в философскую аспирантуру вместо меня, защитил под руководством Оруджева диссертацию и потом много лет работал на кафедре философии в нашем Политехническом институте.

Был еще случай, когда я попробовал послать другого вместо себя. Случай это я потом описал почти дословно в повести «Исповедь»:

«Вызвали меня как-то в военкомат, там сидел тип в штатском, представился майором... не помню фамилию... И после нудного выяснения отношений («Что вам больше в науках нравится? Говорят, вы небо любите, ракеты, да?») сделал достаточно недвусмысленное предложение: после университета пойти работать (он, кажется, сказал, именно «работать», а не «служить») в ракетные части. «С вашими знаниями и оценками... С вашей любовью к полетам в космос»... Я в ошеломлении пробормотал что-то невразумительное, мол, надо подумать, посоветоваться... «Подумайте, конечно, — сказал он, — только советоваться ни с кем не надо, вообще никому ни слова о нашем разговоре, распишитесь здесь»...

Не помню, под каким предлогом я отказался... в той жизни. Кажется, сослался на детскую болезнь сердца, зафиксированную, кстати, в моей медицинской карте».

Герой повести «не помнил», под каким предлогом отказался. Я же отказался именно сославшись на болезнь сердца. И

фамилию майора я, конечно, запомнил: Мамедов. Больше меня в военкомат не вызывали. Но история с майором на том не закончилась. Вместе со мной на физфаке, в группе теор-физики, учился Фикрет Касумов. Когда Октай Гусейнов предложил мне писать диплом по релятивистской астрофизике, он сказал: «Может, ты предложишь еще кому-нибудь заняться астрофизикой? Вдвоем было бы интереснее». Я рассказал Фикрету о том, что произошло и о предложении Октая, он согласился и, как и я, писал дипломную работу по физике нейтронных звезд. И в обсерваторию мы поехали вдвоем. Но, в отличие от меня, Фикрет не имел освобождения от армии. После вуза ему предстояло, поскольку он считался младшим лейтенантом запаса, пройти годичную службу – и ему этого вовсе не хотелось. Тогда я и нарушил данное майору обязательство хранить тайну – рассказал Фикрету историю о том, как я не попал в ракетные войска.



Ф. Касумов в лаборатории (2007 год)

«Попробуй, – посоветовал я ему. – Лучше уж ракеты, чем полевая служба в каком-нибудь гарнизоне».

Фикрет согласился и, когда ему пришла повестка, отправился к военкому.

«Есть тут у вас такой майор Мамедов, – сказал Фикрет, – он в ракетные части людей набирает, хочу с ним поговорить».

Военком сделал большие глаза:

«Какой еще майор Мамедов? Нет у нас таких. Вы мне зубы не заговаривайте, младший лейтенант!»

Пришлось Фикрету год отслужить. Видимо, у них в ракетных войсках были свои списки – кому предлагать, кому нет...